***

Тысяча девятьсот пятнадцатый, Камышлов,
семья прапрадеда смотрит внимательно сквозь пенку на кофейной
пластине.
Выпекается светописный пирог, корочка времени стынет.
Прапрадед стоит очень прямо, взгляд мягок, а рот суров.
Сестра прабабки, беременная, с опушкой воротника,
муж сестры, с усами изящно лежащими над красивым ртом,
нежно склонился к жене. Она умрет в пятьдесят девятом, потом.
Прапрабабки крупнофаланговая рука
подпирает под локоть младшую, Клавдию Дорофеевну -
в светлом платьице, с прямым и спокойным взглядом.
Я помню это взгляд, я в детстве бывала с ней рядом -
с прабабкой, которую в дымке фотографии старой кофейной
так трудно расшифровать. Я читаю ткани, черты,
вглядываюсь в фасоны, измеряю углы скул и глаз,
мне так важно в цветном насыщенном жизнью сейчас
найти что-то в придачу к датам, навести если не мосты,
то - резкость на скрытое.
И добавить немного цвета.
Я уверена, платье прапрабабки синее.
Крупнофаланговая линия
пятерни, ожидание лета,

для парадного портрета
младшая наряжена и умыта.

***

Художники не имеют пола
Художники не занимаются сексом
У Художников вместо мозгов радиолы
У Художников в жопе играет детство
И когда Художник идет, качаясь
На ветру от вчерашнего боя с миром
И с сегодняшним миром взасос обнимаясь –
То над ним реют музы верхом на лирах
Художники не играют в прятки
Извлекают суть за пальцы и яйца
Художники в полном поряпорядке
По ночам на полках в холстах хранятся
А их души, беременны, длинноноги,
Пробегают раем, проходят адом
Выбирают позу, в которой смогут
Пережить рождение.
Ибо надо.

***

Стираешь брови, нежно, смываешь тон,
вытираешь губы.
Остаешься голой, как груздь, очищенный от травы.
Смотришь на подкожные залежи синевы
венок, на сетку морщин, на родинку слева, грубо
намекающую на недоступность сравнения
с вечноюноймонро, отрицаешь ресницы, скрываешь зевоту,
убираешь цвета – кость слоновая, беж, позолота.
Убираешь тени – какие тут были тени...
Отшелушиваешь чешуйки шагреневой кожи,
убираешь девичью круглость подкожного жира,
расплетаешь мышцы, снимаешь с креплений жилы,
Удивляешься мимоходом – а так моложе.
Здравствуй, честность последнего облика.
Пепел – от дуновения – облаком.

В нем опять проступает, лепится
Щек и век и улыбки нелепица.

***

А по белу грязну свету
Ходит шкурка от поэта.
Изошел на свет поэт,
И теперь поэта нет.

Есть слова, и есть дыханье,
причитания, оправданья,
есть природы колыханье,
Есть движение планет,
Строчки есть и междустрочья,
Голос есть, и даже ночью
Можно убедить всех прочих,
Что вот это – сам поэт.

Но когда приходит ливень
И пронзает мир как бивень,
И секут пространства мили
сотни струй, как сотни шпаг –
Все строения умыли,
Всё пробили, оживили,
Но не видно тлена, пыли.
С шкуркой от поэта так.

Как шагреневая кожа,
чей клочок всего дороже,
С нарисованной не рожей –
он печальным ликом чист –
Существует тень поэта,
Все простят его за это,
Всем почти и незаметно.
Лишь крутой таксидермист
Распознает, что начинка –
Света божия личинка
Убежала, половинку
Перекинув в створки книг,

И поэта оболочка
Снова ищет в междустрочках,
Запятых, пробелах, точках –
Вдруг опять наступит миг,
Вдруг от искры, вдруг из праха,
Из подмышки или паха
Птица-феникс, злая птаха
И вспорхнет, и воспоет,
И развеется химера.
И пока такая вера
существует в шкурке серой –
Жив поэт. Поэт живет.

**?*
Мы покалечены вечностью. Точит вода песчаник,
море стопой голыши разминает в песчаный порох
вечность стоит в карманах струится между
пальцами вечность гибка, пластична, и детство
ближе к улыбке моря как липкий пряник –
в сумке усталой мамы залипнет в долах
памяти и случайно стократно нежно
выпадет – ближе к вечности. Чем согреться
нам, перебитым дробью секунд? Затворы
щелкают – в пыль песок и в труху деревья
море стопой разминает усталый камень
статую краеугольный валун колонну
тени камней качаются рябью моря
вечность калечит нежно с улыбкой древней
только тот липкий пряник, тот мамин пряник
крепче базальта и мягче стопы бездонной.